



Людмила Турченко

Аплодисменты



Москва
2016

УДК 791.44.071.2(470)
ББК 85.374(2)6-8
Г95

Разработка серии А. Саукова, Ф. Барбышева

Фотография на обложке и корешке Игоря Гневашева

Гурченко, Людмила Марковна.

Г95 Аплодисменты / Людмила Гурченко. — Москва : Издательство «Э»,
2016. — 576 с. — (Легенды кино и театра).

ISBN 978-5-699-85159-1

Кого Людмила Гурченко считала самым главным человеком в своей жизни? Что помогло Людмиле Марковне справиться с ударами судьбы? Какие работы великая актриса считала в своей карьере самыми знаковыми? О чем Людмила Гурченко сожалела? И кого так и не смогла простить?

Людмила Гурченко — легенда, культовая актриса советского и российского кино и театра, муза известнейших режиссеров. В книге «Аплодисменты» Людмила Марковна предельно откровенно рассказывает о ключевых этапах и моментах собственной биографии.

Семья, дружба, любовь и, конечно, творчество — великая актриса уделяет внимание всем граням своей насыщенной событиями жизни. Здесь звучит живая речь женщины, которая, выйдя из кадра или спустившись со сцены, рассказывает о том, как складывалась ее личная и творческая судьба, каким непростым был ее путь к славе и какую цену пришлось заплатить за успех. Детство в оккупированном Харькове, первые шаги к актерской карьере, первая любовь и первое разочарование, интриги, следовавшие за славой, и искреннее восхищение талантом коллег по творческому цеху — обо всем этом великая актриса написала со свойственными ей прямотой и эмоциональностью.

УДК 791.44.071.2(470)
ББК 85.374(2)6-8

ISBN 978-5-699-85159-1

© Л. Гурченко, наследники, 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Предисловие

*П*ервая часть этой книги родилась несколько раньше, родилась из устных рассказов — замечательных, тонких, глубоких.

Мы тогда снимались в «Сибириаде», и не проходило вечера, чтобы, собравшись у кого-нибудь в номере, мы не уговаривали Людмилу Марковну рассказать про отца.

После каждой исполненной в лицах истории оставалось печальное чувство, что действие уже кончилось. Вот тогда-то и родилась идея книги. Я тоже горячо ее поддерживал, но был уверен, что, перенесенная на бумагу, история маленькой девочки в большой войне потеряет свое обаяние, сама по себе превратится в беллетристику.

С той поры прошло время, и мы вновь встретились с Людмилой Марковной уже на съемках «Пяти вечеров». Я как-то забыл о тех наших разговорах, связанных с идеей написания книги, но однажды Гурченко принесла с собой на репетицию несколько тетрадок, неровно исписанных шариковой ручкой. Шумно иронизируя над собой, тем самым пряча смущение, она наконец сказала, что это начало ее книги, но тетрадок она никому не даст: у нее, мол, плохой почерк и много помарок, но если мы очень хотим, то можем послушать — она почитает сама.

Я, признаться, несколько смутился: придется что-то говорить, огорчать не хочется (да и невыгодно — нужно репетировать), а ничего путного, даже вполнину адекватного ее рассказам, от рукописи я не ждал. Но когда Люся стала читать, меня порази-

ло то, что я не почувствовал никакой литературности, никакого, даже скрытого, желания быть или хотя бы казаться писательницей. Это был живой, льющийся, полный юмора, легкости и в то же время драматизма рассказ.

«А не попал ли я просто под обаяние ее личности? — думал я. — Ведь все-таки мы слушаем Люсю, она блистательная актриса, материал ее близок». Но когда через некоторое время Людмила Марковна дала мне первому (чем я очень горжусь) прочесть свою рукопись, которую она, как сама говорила, перепечатала одним пальцем, я понял, что не обаяние ее личности приковывало мое внимание, а сила ее человеческого таланта.

И, читая эти листки с перечеркнутыми строчками, вписанными словами, я невольно сопоставлял эту маленькую девочку и эту знаменитую актрису, ту ее жизнь и теперешнюю, зримо представлял, что между двумя этими жизнями было. Эта книга не просто история девочки, которая выросла и стала знаменитостью. Это история уникальной личности во всей сложности и противоречивости ее духовной жизни.

Так что же она такое, эта Людмила Гурченко?..

Мне было тогда лет тринадцать, и больше всего на свете я любил открывать двери, когда к старшему брату собирались гости. Я до сих пор не могу понять, почему я это так любил, все равно никакой надежды, что мне позволят посидеть со взрослыми, не было, но, наверное, то, что можно хоть на мгновение прикоснуться к празднику старших, посмотреть, кто пришел, что принес, заставляло меня вздрагивать при каждом звонке и сломя голову нестись открывать.

Вот так однажды я открыл дверь Людмиле Гурченко. У брата было уже много народу, смеялись, гремела музыка, а передо мной стояла живая Гурченко. Закутанная в шубу, в туфлях на высоком каблуке, с инструментом, похожим на мандолину, в руках, она постояла на пороге, поняла, что со мной не о чем говорить, и прошла туда, откуда доносились голоса. Ее встретили воплем, хохотом, аплодисментами, а я так и остался стоять, ослепленный видением, к которому никак не был готов. Я думал, что Гурченко будет петь, не зря ведь с мандолиной пришла, но она не пела, более того, вскоре все с шумом собрались куда-то в другое место,

толкаясь, оделись и ушли. А через минуту их голоса доносились уже с улицы.

Вряд ли Людмила Марковна помнит этот эпизод. Да и зачем ей было его помнить? В тот период первой волны ее фантастической популярности улыбкам, рукопожатиям, поцелуям не было конца. Это, думаю, ошеломляло, радовало, утомляло, а самое главное — казалось, что никогда не будет ничего другого, впереди долгая счастливая жизнь, полная побед и удовольствий. Проснувшись однажды знаменитой, сразу после выхода на экран фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», она мгновенно, как и подобает настоящей актрисе, легко и естественно почувствовала себя в этих предлагаемых обстоятельствах. Но настоящая ли это была слава? И могла ли такая слава затуманить сознание, ослепить, лишить реального представления о мире и о себе в этом мире? Могла, и еще как могла! Сладкие минуты стремительного признания обернулись долгими годами расплаты за такую стремительность. Все было на этом тяжелом пути: и отчаяния, и разочарования, и надежды, и вновь отчаяния, но самое главное — была работа. Нет, не та, желанная, актерская, ее-то как раз довольно долго и не было, но была работа духовная, было постоянное строительство себя, по камешку, по кирпичику. Вот тогда, я думаю, Гурченко поняла, что человек не хозяин своего таланта, он только проводник его, его слуга, и никакие блага жизни, никакая слава не смогут, не должны заставить использовать талант только для достижения их.

Да, это был тяжелый путь, но кто знает, имели бы мы теперь такую актрису и такую личность, как Людмила Гурченко, не будь этого трудного, но настоящего пути к настоящей славе?

Как зрители, которые воспринимают личность Людмилы Гурченко по-разному, только не равнодушно, так и читатели с первого же момента выхода в свет ее книги «Мое взрослое детство» обрушились на автора, кто — обожанием и восторгом, кто — раздражением и сарказмом. Однако, вне зависимости от точек зрения, стало ясно одно: книга Людмилы Гурченко — это явление! И явление, может быть, не столь литературное (на это автор и не претендовал), сколько явление человеческое, гражданское, личностное.

Сто тысяч экземпляров разлетелись в считанные мгновения, а вскоре посыпались письма: «Что было дальше?» — спрашивали читатели. «Как жилось?», «Что думалось?», «Как выжилось?»

Ответом на эти вопросы и стала книга, которую вы держите в руках. Это легкий, летящий монолог актрисы. Иногда он веселый, и тогда перед нами возникает образ Людмилы Гурченко, давно знакомый нам по комедиям прошлых лет, иногда — горький, и мы узнаем Гурченко и ее тему в фильмах более позднего времени. Но какая бы интонация ни звучала в ее словах, незабываемыми в них всегда остаются прямота, честность и удивительная безжалостность к себе. Такая обезоруживающая самоирония делает книгу еще более обаятельной и помогает читателю, ощутив доверительную интонацию, поверить автору до конца, ибо если он доверяет себя читателю, то и читатель отвечает автору тем же. Во всяком случае, так должно быть.

Я не буду пересказывать содержание книги, не буду останавливать внимание на особенно нравящихся мне страницах, скажу только одно: о ком или о чем бы ни шла речь — будь то история поступления во ВГИК или отношения с маленькой дочкой Машей, отец Марк Гаврилович или точные, емкие детали времени — во всем, за каждой строчкой огромная, всепобеждающая, бесконечная любовь к своему Отечеству, живая в него вера! И именно эта вера и эта любовь помогли Гурченко пронести свою сущность сквозь все испытания славой и бесславием, помогли ей сохранить свое лицо. И лицо это узнаваемо во всем, за что бы она ни бралась! Узнаете вы его и в этой книге.

Н. С. Михалков

Часть первая

Мое взрослое детство

Мое взрослое детство

Я хочу попытаться рассказать о своем отце. Человеке сильном и слабом, веселом и трагичном, умном от природы и почти совсем неграмотном в сегодняшнем понимании слова «образование». Из прожитых семидесяти пяти своих лет сорок пять папа жил в городе, но так и не научился говорить грамотно. Город и цивилизация его как бы не коснулись.

Люди, которые хоть раз общались с ним, встретив меня через время, всегда задавали один вопрос: «А как твой папа? Ну расскажи про своего папу... Ну пожалуйста!»

И я рассказывала. Они смеялись, поражались его неожиданным поступкам, его речи, ему... Я не могла им сказать, что его уже нет, что с 17 июня 1973 года я мечусь и нигде, ни в чем не могу найти покоя. Только в работе, которой, к счастью, загружена в последние годы без перерыва. Я знаю, что надо отдохнуть, но боюсь этого. Ведь тогда у меня будет свободное время, и опять на меня обрушится тоска, боль, пустота...

Ведь нет больше моего папы!

Папа прошел через всю мою и мамину жизнь, наполнив ее радостью, юмором, уверенностью, что мы с мамой — прекрасны.

Автобиография

Папа часто и с удовольствием рассказывал о себе. Я попробую воспроизвести его речь как можно точнее, потому что без этой речи нет моего папы.

Мой папа, Марк Гаврилович Гурченко, родился в деревне Дунаевщина Рославльского района Смоленской области. Он родился в 1898 году, но всем говорил, что в 1899-м.

— Марк, — ехидно спрашивала мама, — ну зачем ты врешь? Ты же по паспорту 1898 года... Ну что тебе дает один год?

— Не нада, Леличка, не выводите меня. — Обычно горячий и невыдержанный, папа, когда речь заходила о его возрасте, сразу притихал и всегда терпеливо объяснял маме: — От человек, ну што ты скажешь... Я ж тебе гаварив, што — тыща восемьсот девяносто восьмой год при царской служби служив последний год. А я у царский служби не служив! Значит! Што выходить? А? А-а!!! То-та. Былван есть былван. Да зачем мне врать, галава ты. Я ж увесь як на ладони... Да-а, у девять лет я вже батрачил. Пас у пумещика Людаговскага лошадей. Солнце усходить, и я встаю... Раз заснув, а лошади — у клевер. И вокурат у етый самый мумент пумещик проежжав... поля проверяв. Он меня соннага пугою (кнутом) як потянуть... Во було дела-а. Я ускочив: «Пан, бейте сами, только батьке не гаварите... Батька меня насмерть зашибеть...»

А когда, пригнав лошадей, прийшов у хату — батька бив... та што там гаварить, бив и пригаваривав: «Учись, сынок, жить, мать твою в триста богов...» Да-а, батька меня вже здорового бив... Ну, правда, було за што. Раз — мне уже тада лет двадцать було — усю ночь с хлопцами у суседний Сморкачевки с девками гуляли. А у четыре утра вже у поле выходить нада... Приплевся пьяный, а тут вже усе меня ждуть — стоять кала хаты: батька, matka, братья, Иван да Мишка, а Егор ще маленький був, у хати спав... Батька з топором на меня идеть. Matka бросилась на него — он ее вдарив. Она об землю!.. Усе вскипело у меня за мать. Батька ее часто бив... У глазах враз усе потемнело, вже не помню, што и як — но пошев прямо на батьку...

«А-а-а! На радного отца руку подняв? Ну, держися...» Побегав батька у хату, а з хаты выходить з ружьем... Целить прямо в меня... Стою. Увесь похолодев, зубы стиснув, сам — ни з места... «Ну, — думаю, — усе, Марк, отжил ты свой век». И батька стрельнув... Осечка, брат... А ружье новое було, осечки не давало. Усе стояли белые, як мел...

«Ну, долго жить будешь, сукин сын. Моли бога, сынок...» Вдарив об землю ружье и пошел у степ. Да-а. Вот и скажи, што бога

нет. Новое ружье — и осечка! Не-е, якая-то сила есь... Вон я вже и батьку своего пережив, хай земля ему будить пухум...

...Да-а, ну дальший — у революции служив. Побили усех пумещикув к... матери, та што там гаварить. Да-а, ну а потом, значить, бросили меня з групою наших хлопцев на ето, як его... раскулачивание... Ну а в меня характер, сам знаешь, а када выпью... Та што там гаварить — одним словум, молодой, гар-ря-чий... Аднаго кулака так прижав — насилу ребята оттащили от греха подальший... «Не, Марк, так круто нельзя, нада полегчий». Да он же хлеб прячить, а люди с голоду пухнуть... «Полегчий»... Да-а, ну, словум, ето дело не для меня...

А у ето самое время вокурат усе наши деревенские хлопцы в город подалися, многие подалися. У город, у шахты, у рабочий класс. Ну и я з ими.

И вот у Кривом Рагу, на руднике, десять лет забойщикув быв. Там, братва, такие драки были... куда там... Деревенские хлопцы такого зроду не видали. Там меня, наверна, и шас многие помнят. Да-а... А особенно етый брат, — показывал папа на женщину, если в компании слушателей находилась такая. А если женщин не было, то смотрел на маму. — Та што там гаварить... у те годы «етага брата» у меня було... сотни. Ну и любили ж они меня, э-э-э-эх!!! — и, тут же быстро оглянувшись, нежно позвав: «Крошка!» (папа стал маму так ласково называть, когда вес ее приблизился к ста килограммам), и убедившись, что мама не слышала ничего, с удовольствием продолжал и все вырастал и вырастал в глазах мужчин-слушателей.

... — Да-а, ну, значить, дальший... да, забыв. У деревни, я, ще хлопцем, веселив девок на двухрядной гармонии. А у Кривом Рагу дело пошло чуковней (шустрей). Перешов уже на трехрядный бяян, та што там... Ни адна свадьба без меня не обходилась. И меня усе любили с дорогою душою, ну и я к усем по ласке.

Да-а, так вот, значит, дальший. А дальший — у тридцать втором году — меня высунули в интеллигенцию... Тада много способных хлопцев посылали на высшее образование. Меня в Харьковский муздраминститут. Он тада вокурат стояв на Бурсацким спуски. Выдержав я етый институт усега два года. Во где, братва, испытат я исключительный голод и позор. Та што там, мамыньки родны... Ну, образование у меня што? — четыре класса поповский шко-

лы, ну, немного техникума у Кривом Рагу. А тут тебе и политэкономия, и «Капитал» Маркса... Куда мне усе ета...

Иногда в компании своих коллег-баянистов, рассказывая о периоде жизни в муздраминституте, папа мог вдруг процитировать наизусть «изречения», которые он запомнил на лекциях. Их он произносил подчеркнуто «литературно», даже букву «г» говорил твердо, как москвичи: «Да, братва, жисть есть борьба. Маркс он тебе не дурак, такую, брат, багатую книжку наскородив... А жить ув общистви и быть свободным от общиства никак нельзя, братва. Во какое дело», — чем озадачивал всех своих дружков.

— Да-а, вволю тада нада мной посмеялися городские хлопцы. За што, правда, бывали неоднократно христосованы мною, пока усе не попритихли... Та я и сам чую — ну куда мне за ими, отстаю. Да я ноты одни полгода вчив. А там и теория, и гармония... Выйду до доски, лицом стану, путаюся — усе смеются; спиною стану, усе штаны у латках — смеются. На мне усе трусится, еле здержуюсь... Стипендия — гроши, кишки трицать, одеть нема чего... Хоть «караул» кричи... Да-а...

...И тут вокурат устроився я ув одной школи детям на переменках играть. У раз — десять рублей! А? Ага! — вижу, дело пошло чуковней. И тут смотрю — секретарь комсомольский организации... такая крепкая, цыцохи большие, глаза прия-ат-ныи... Ну я ей и гаварю: «Будь ласка, барышня, памагите мне детей организовать». Так нежно ей гаварю, ну, словом, подлажу до ней... «Ну конечно, пожалуйста, дядя Гриша», — так интеллигентно отвечать. А меня тогда Гришую звали. А то, говорить, што ета у тибя за имя — Марк? Нерусское ета имя... Ну як же не русское? Як же не русское, када я родився 23 апреля, на день святого Марка. Так меня Маркую и назвали... Да у меня усе братья: Иван, Мишка, Егор, батька Гаврила Семенович, мать Федора Ивановна — усе русские, да уся деревня русские... У нас других зроду не було...

...Да, так вот ета самая комсомольский секретарь гаварить мне: «Дядя Гриша, с удовольствием помогу вам, только расскажите, научите, пожалуйста...»

...Вот я и навчив на свою голову. Вже тридцать лет вчу... Ета ж и была Лялюша. Ну, Леля. Елена Александровна Симонова. Лю-сина мать.

Это была моя мама. Тогда она училась в девятом классе. Мама была 1917 года рождения. И папа хоть на год, но сокращал этот трагический для него возрастной разрыв...

Прекрасное время

Так получилось, что я родилась, и мама школу не закончила. Она стала работать вместе с папой. Мама помогала папе-баянисту проводить массовки и утренники в школах, вечера и праздники на заводах и фабриках. Она стала успешно осваивать профессию массовика.

Потому можно сказать, что я родилась в «музыкальной» семье. А точнее — я родилась в музыкальное время. Для меня жизнь до войны — это музыка!

Каждый день новые песни, новые мелодии. Они звучали по радио и на улицах; с утра, когда папа разучивал «новый» репертуар; вечером, когда приходили гости; у соседей на пластинках. Песни и мелодии я схватывала на лету. Я их чисто пела, еще не научившись говорить.

Папа и мама работали в харьковском Дворце пионеров. Это был новый красивый дворец. Он находился на площади имени Тевелева. В большом мраморном зале посередине стоял квадратный аквариум. Там плавали необыкновенные красные пушистые рыбки.

В перерывах между массовками мы с папой бежали к аквариуму: «Дочурка! Якеи рыбки! Я ще таких зроду не видеv. Якая прелесь... божья рыба...» Мама всегда портила ему настроение: «Марк, ты хоть рот закрой. Сорок лет на пороге... Хуже Люси... хи-хи-хи». — «Леличка, ну яких сорок? Ще нема сорок, зачем человеку зря набавлять?» И папа, взяв меня на руки, посылал в мамину спину: «Во — яга! Мамыньки родныи... Ну? Ета ж чистая НКВД! Ничего, дочурочка, зато папусик в тибя самый лучший!»

Ну, конечно, самый лучший! Самый необыкновенный! Я обнимала его, прижимала его голову к своей. Мне было его жалко.

Имя свое я получила за два часа до рождения. Испуганный папа отвез маму в роддом, что был на Пушкинской улице, а сам

«на нервной почве» побежал в кино. Тогда на экранах с огромным успехом шел американский приключенческий фильм «Акулы Нью-Йорка». В картине было множество дотоле невиданных, неправдоподобных трюков, погонь, выстрелов... Герой фильма, красавец Алан, совершает чудеса — спускается по канату с самолета на крышу несущегося поезда, в котором увозят его похищенную возлюбленную, прелестную Люси. После сеанса потрясенный папа примчался в роддом и срочно передал маме записку: «Лель! Детка моя! Если в меня будить орел, назовем Алан. Если девычка, хай будить Люси».

Как только я родилась, мама облегченно вздохнула. Первой ее мыслью было: «Слава богу, что девочка, а то был бы Алан Маркович...» У нас во дворе женщина после очередного заграничного фильма назвала своего сына Джоном. Мама говорила, что весь двор хохотал. Джон Иванович Рыбак! Джон Рыбак! Бедный мальчик.

Но в загсе папе сказали, что такого имени, Люси, в России нет. Есть Людмила. Это старое славянское имя. Означает — «людям мила». А дома называйте как хотите — Люся, Люси... И зачитали папе целый список самых модных в то время имен: Кима, Ноябрьрина, Искра, Владлена, Сталина, Марклена, Октябрьрина, Мюда...

— Як ето Мюда?..

— Международный юношеский день.

— Гм... не-е, давайте лучий Людмила... «Людям мила»... ето мне подходить... ето значит, что усе люди будут до ней по ласке. Давай пиши! Хай дочурка у меня будить Людмилкую.

Из роддома меня привезли на извозчике. Такси в Харькове в 1935 году были еще редкостью. Привезли в нашу маленькую комнатку в большом доме по Мордвиновскому переулку, № 17. С этой комнатой у меня связаны самые светлые и прекрасные воспоминания в жизни.

Комната была подвальной, с одним окном. Я видела в окно только ноги прохожих. Мне было интересно определять по обуви и юбкам своих соседей. Прямо под окном стоял стол. Слева — буфет. В буфете на верхней полке в вазе постоянно лежали конфеты. Я их получала за свои «выступления».

А выступала я перед всеми, кто попадал к нам в дом. Папа тут же усаживал гостя.

— Ну куда, куда ты бежишь? Ну чиво? Сядь, передохни! Галава ты... Усех дел не переделаишь. Щас тебе моя дочурка концертик устрругнеть.

И начиналось! Папа ставил стул посередине комнаты, я быстро вскарабкивалась на него, руки назад, глаза широко открыты, улыбка самая веселая. Я все делала так, как учил меня папа: «Дочурка, глаза распрастри ширей, весело влыбайсь и дуй свое!» Начинала я со стихотворения:

Жук-рогач, жук-рогач —
Самый первый силач;
У него, у жука,
На головушке — рога!

При этих словах полагалось приставить к вискам два указательных пальца.

Гость вежливо улыбался: «Очень мило, очень мило», — и собирался уходить. «Куда ты? Не-е, брат, ще тока начало! Давай, дочурчинка, песенку з чечеточкую!» Это означало, что в конце песни, какой бы она ни была, надо дать «кусок» чечетки. Я хлопала себя почти одновременно по груди, коленям и, выбросив ногу вперед, а руки в стороны, громко выкрикивала: «Х-х-ха!!»

Эх, Андрюша, нам ли быть в печали,
Возьми гармонь, играй на все лады,
Так играй, чтоб горы заплясали,
Чтоб зашумели зеленые сады!

Папа на баяне — «тари-дари, дари-дам!».

И я свое — «х-х-ха!».

После этого гость обязательно смеялся. Больше всех радовался и подыгрывал мне папа: «Не, актрисую будить, точно. Ето як закон! Усе песни на лету береть, як зверь. Ну, вокурат актриса!»

И человек, который к нам заходил на минуточку, уже через четверть часа под папиным обаянием и натиском совершенно забывал, куда и зачем он шел, почему он оказался у нас, и, конечно, оставался... Папа выразительно смотрел на маму. Мама бежала в магазин. А я продолжала свое выступление.